

Татьяна Грибанова



ПЕТРОВКИ В СТУДЕННЫХ КЛЮЧИКАХ

Деревенская быль

1

Татьяна Ивановна Грибанова родилась в деревне Игино Орловской области. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала преподавателем. Печаталась в журналах «Подъём», «Наш современник», «Роман-журнал — XXI век», «Сельская новь», «Простор» и других. Автор девяти книг поэзии и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова, награждена специальным дипломом «Прохоровское поле», премиями им. Е.И. Носова, им. А.П. Платонова, им. С.А. Есенина, золотой медалью В.М. Шукшина и др. Член Союза писателей России. Живет в Орле.

Ж

ара прошлым летом в средней полосе стояла такая, что местные, измученные ею не на шутку, когда подтянулись холода, наконец-таки воспряли. Поверилось: исчезнувшие, было, нашенские погоды опомнились и возвратились. Морозы, как и положено в русских широтах, шарахнули за тридцать.

Но нынешнее лето обратило в пепел, начисто выжгло все надежды. Градусник, словно объевшись каких поганок, упрямо карабкался вверх. Ни капельки не желал сострадать полуобморочному состоянию граждан, не привыкших к таким жарам, к такому издевательствам природы.

Изничтожалось небывалое количество минералок, цистерны квасов и компотов. Свойские ягоды-овощи горели на корню, а потому на рынке и в магазинах за них ломили такую цену, что сразу и клубника, и огурчики-помидорчики набивали дикую оскомину.

Загранично-привозного, что тоже влетало в копеечку, душа не принимала. И когда в середине июля Люська потащила

меня к ее тетке в какие-то ли Малые, то ли Студеные Ключики «на белый налив», как я могла сопротивляться? В такую жару в Ключики да похрустеть яровым яблочком?

Правда, засомневалась маленько, откуда явится в несусветную жарень налив. Говорят, сады осыпались сразу после завязи, еще пупырьками.

Но Люську надо знать. Если что задумала, день станешь биться — не свернешь: «У моей тетки этой радости всегда валом, хоть жара, хоть всемирное оледенение. Не кочевряжься, поедем, душу отведем. К тому же Петровки завтра. А тетка у меня — Авдотья Петровна. Еще неделю назад наказывала Кузьмичом (приезжал о пенсии хлопотать): “Пущай племянница на мои двоюродные менины пренебреженно явится”».

Ну что ж, «менины» так «менины»...

И покатили мы с Люськой к Петрову дню в те самые Ключики.

Прихватив по полторашке минералки, более-менее благополучно добрались до сиротливо торчащего среди обмякшего, сонного перелеска крошечного полустанка.

Когда автобус, освободившийся от единственных пассажиров, словно конь от надоедливых седоков, нарушая полусонное царство, железно заржал, лягнулся тучами парной пыли и, дико развернувшись, ускакал по бесчисленным колдобинам, мы, сбросив в сумку «городские каблуки», затопали босиком по жаркому проселку.

Поверхность его была по-хозяйски, со сноровкой взбита тракторами и грузовиками, словно перина. Такой пух, что Люськиной тетке даже не снился. А уж старушка, по словам подруги, знала в этом толк: сколько гусей перещипала, сколько перин-подушек для племянниц за свою одинокую жизнь навостила!

Пылица — по колено. Не идем — плывем. И все как-то не верится в райский сад тетки Авдотьи: по обочинам спаленные столиким солнцем — от горшка два вершка — хлеба, хлипенькие былинки сенокосов. Ни привычного в эту пору звука комбайнов, ни стожка сена.

Несносный июльский полдень. На подходе к теткиной усадьбе в наших раскаленных душах кипит единственное желание — на речку! Благо Крома еще не пересохла. Обмелела, но, скрываясь в тальниках и осоках, приманивает всякого, обещая прохладу и свежесть.

Авдотья Петровна поздоровкалась, зародовалась, расцеловала. Понимающе не стала перечить, отговаривать от речки. Шмыгнула в горенку, вынула из сундука два праздничных полотенца, специально про гостей расшитых убористым крестиком, розанами да колосьями. Пошебуршала в шкафу, сыскала духовитое, «земляничное» мыл: «завсегда против шашала держала». Приставив козырьком ко лбу ладонь, с крыльца, через заросли золотого шара, посмотрела нам в след. Опомнилась, всплеснула руками и метнулась хлопотать на крошечной кухоньке — «менины» так «менины», потчевать надобно по-козырному.

...Все живое стремится, тянется, бежит, ползет к воде. Ребятня день-деньской барахтается в Кроме, и никакой силищей невозможно ее оттуда выудить. На материнскую угрозу «Ну, только объявись, паразит, к ужину, отец про твою попу охажку крапивы накосил!» с высоченной тарзанки выкручивается очередное сальто, и привороженный рекой мальчуган выкарабкивается, отплевываясь и пританцовывая то на одной, то на другой ноге, на противоположном берегу. А потом вразмашку, как только мать скроется за

тальниками, — обратно. Продолжать бултыхаться до ярких звездочек, накупаться до посинения, до гусиных пупырышек, до того, что за ужином с ложкой у рта, под мамкино сердчанье, словно под сладкую колыбельную, уронит голову прямо на стол, да так и уснет. А с утрачка, пока родительница корову в стадо поведет, снова шмыгнет на Кромку. Ищи его свищи!

Речушка прячется в непролазном краснотале. Лишь изредка, у переездов, кусты лозняка отступают, и ярко-желтым, словно пшенка, песочком рассыпается покатый берег.

Пробираемся вверх по течению к поникшим до самой водной глади осокам. Сбрасываем на ветки тальника сарафаны и — бултых в воду. Чувфыркаемся, словно детвора, плаваем, плещемся. Руки раскинуты, лежим, шевелиться лень. Вода выпарилась, густая, цветочный мед.

И берега медом дышат. Бешеный огурец — безобидный улизливый приживала среднерусских речушек — расползся своими длиннющими плетями с огуречными листьями, с мягкими, игловатыми коробочками, с душисто-сладкими цветами по ивовым и тальниковым зарослям, заполонил собой все возможные и невозможные пустоты и прогалки. От него то и тянет по всему берегу сладкой дремой.

На деревне не гамкнет собака, не кококнет курица. Жизнь только здесь — у воды.

У плеса, ниже переезда, поломав айры, забравшись по колено в глинистый ил, перемукивается, полудничает стадо. Пастух, пришлепнув на голову лопух, орет что-то своим неслухам. Подпасок, нащелкавшись понапрасну кнутом, скинув одежду, гребет на тот берег залучить неумных первогодок, мелькающих рыжими пятнами то тут, то там в недоростухе-кукурузнике.

Чуть поодаль бултыхаются, когочут обезумевшие от воли и речного простора несчетные табуны гусей, гордость ключевских мужиков.

Плаваем, а над головами, словно лилипутские аэропланы, то бесстрашно пикируют, то медленно скользят, шурша и жужукаясь, таращась инопланетянскими шарами-глазищами, капроново-зеленые, шифоново-бирюзовые стрекозы.

Повсюду, до самого обвядшего леса, — звенящие от зноя, выжженные поля и проселки, а у воды, словно в каких заморских странах, буянят от тепла и сырости осоки и рогозы, айры и незабудки, стрелолисты и камыши. Меж роящихся небесно-голубых мотыльков порхают царственно-золотые бабочки — ослепительно-яркие ирисы.

В заводи среди крупных, округлых, молодых — красноватых, взрослых — темно-зеленых сверху и фиолетовых снизу листьев брызжут кипенно-белые звезды, редкостная краса наших рек — кувшинки.

Люська — ныряльщица еще та! Исчезает под зарослями диковинных цветов, а через минуту показывается, таща за собой на берег длиннющие до трех сантиметров в толщину корни-шнуры.

— Это чудо цветет здесь с конца мая до самых заморозков, — растолковывает мне подруга. — А сейчас для кувшинок самая пора.

Она обрывает водяные лилии, собирает в букет. В ее загорелых руках крупные, слегка душистые, молочно-белые цветы кажутся большим снежным шаром.

...Возвратившись к Авдотье Петровне, вручаем ей кувшинки, поздравляем с именинами. Застеснявшись неожиданного подарка, старушка наливает воды в молочную крынку, водружает в нее лилии, ставит на окошко. Тихо молвит: «Почитай, лет пятьдесят цветы мне никто не под-

носил... Как похоронку на Прошу в сорок втором получила, так некого ждать стало... От кого ж цветы-то?..»

— Так, — вмешалась Люська, — нынче грусть отменяется! Именины у тебя, тетушка Авдотья, или как?

— Ах ты, Боже мой, — вспоминает старушка. — Менины, милаи, менины! Батюшки мово менины... А уж для меня — двоюродные, стало быть... к столу, девоньки. Проголодались небось, накупавшись-то?

— Не надо, не надо! Ты, Авдотья Петровна, не уворачивайся. Праздник — так родный, никакой не двоюродный! Ишь чего придумала!

2

Нырдем в палисадник, в самую сирень, где старушка, нас дожидаясь, успела раскинуть самобраночку, «чем Бог послал». Расстаралась для редких гостей. И все свойское.

— От Звездочки, от хохлаток ды с огорода. И наливчик с мово саду, — потчует, не нарадуется причепуренная Авдотья.

— Вот это поляна! — ахает мы. — Видать, тут и заночуем.

— Ну, дак ноне и так спать не придется. Петровки! Солнцекараул! Того гляди, ребята чего начередят. Федька Трофимов — уж такой распроказник, такой анчибел! Верховодит малкосней, одна беда с ими. Такие фортеля в прошлом годе навькомаривали, что и вспоминать стыдобушка!

— Это кто ж такой? Петра, что ли, сынок?

— Ен, старшенькой. Паразит-пересмешник! Чтоб ему пусто было!

Сидим, вечером, калиновкой теткиной лакомимся, чаем с молодым медком балуемся («суседи не забяжут, привечают, что чем»).

Замечаем, как ерзает на лавке Петровна. Очень уж хочется ей, чтобы мы наконец-таки полюбопытничали, как это у нее в эдакую жарень яблоки с добрый мужижкий кулачище вымахали. Зная, что сад с наливками да пепинками — любимая тема для Авдотьиных баек, Люська не торопится: вся ночь впереди; придерживает теткнины сказки на потом.

Навечерялись досыта, пристроились на завалинке, яблочками похрумываем. Слышим: пискнула калитка. Зорька по-хозяйски, не ломаясь, поддевает рогом вертушок и тяжело вступает на подворье. Вымя ее чуть ли не волочится по стежке. И чудится: не ромашки это вовсе белеются на просторном Авдотьюшкином дворе, а растерянные, нечаянно оброненные Звездочкиными дойками капли парного.

Корова многозначительно смотрит на хозяйку: вот она — я, принимай, мол, как следно — радуйся. Важно шествует за амбар, где Авдотья еще с весны обустроила для нее ореховую загородь — душно летними ночами в хлеву.

Звездочка заворачивает за угол, но долго еще в воздухах витает дух заречных луговин и лесных чащобин, смешанный с запахом оброненной посреди двора коровьей нечаянности.

— Вы, девоньки, не скучайте, отлучусь на минутку. Вернусь — вчорошником напою.

Авдотья Петровна подвязывает потуже косынку, подтыкает выбившиеся из-под нее серебристые пряди, споласкивает под рукомойником, что прилажен к размашистому вязу, руки. Прихватив с изгороди прожаренный за день подойник, походя, сдергивает с веревки выжелтившийся от жирнющего Звездочкиного молока свежестиранный подтирух и исчезает вслед за «кормилицей».

А мы, не дожидаясь Петровны, отправляемся в залуженный сад. Лет тридцать, как разбежался он от Авдотьиного крыльца, да так и не перемахнул через ореховый, поросший повиликой, частокол.

3

Сумерки в Солнцекараул — время таинственное, недосказанное. С их приходом не зрением, а всем нутром своим чуешь вдруг, как подползают, поддвигаются все ближе и ближе, наваливаются и, наконец, обволакивают со всех сторон ничем не преодолимые колдовские чары. Они все усиливаются и усиливаются, и ты не можешь им сопротивляться. Невольно поддаешься их магии: затаенно дышишь, заморожено прислушиваешься к полусонному бормотанию умаявшейся от вездесущего дневного света листвы, всматриваешься, словно стараешься предвосхитить спрятанное до поры до времени невиданное чудо.

В вечернем небе колесо колесом, то ныряя в яблоневые кроны, то выскакивая в чистейшие небесные дали, выкатывается луница. Может, выехав с вечера, торопился какой-нибудь дед Пуцай «к своему куму на менины», на Петровки: с пригорка на пригорок, с горушки на горушку — телегу растрясло, колесо-то с Василева косогора возьми да сорвись. И с разгону — прямо на небо. А как о края облачков чиркало, «чиплялося», искры из-под него алмазной пылью сыпались, так и разлетались ясными звездочками на все стороны.

Деревья замерли в полудреме: не колыхнутся ветви, не шелохнется листва. Лишь изредка ахнет-осерчает, вспорхнет растревоженная, напуганная нашим появлением сытая птица, и разом гулко шуганут, затукают оземь десятка полтора ядерных яблок, обрушившихся с грузной ветки. И она, словно разродившаяся баба, вскинется облегченно в горячке и тут же, успокоившись, замрет, светясь несказанной радостью и покоем, озаряя своим светом выношенные плоды.

Поднимешь такое яблочко, а оно — живое! И в самой сердцевине его будто огонек теплится. Свеча, да и только! Поднесешь к уху, потрясешь — звенит, надкусишь с треском — прольется, сочно брызнет, словно душу елеем окропит, ни с чем несравнимая свежесть. Наливное! Разломишь — сахаром заискрится. Понюхаешь — учуешь разом все ароматы лета. Оглянешься: сад — золотой! В свете полной луны, в отблесках последних «ржанных» зарниц яблоневый Авдотьюшкин сад кажется зачарованным тридевятым царством. Невольно присматриваешься — уж не клюет ли где ранетки сама Жар-птица?

Все лучики солнца сошлись, сплелись, воссоединились в маленьком яблочке из сада тетки Авдотьи, потому и сияет оно волшебным фонариком, источает в сливовых сумерках тепло и ласку.

Бродим меж окутанных полудремой деревьев, удивляемся: надо же! — под каждой яблонькой — заботливо пригорнутый ворошок.

— Вся деревня кормится с теткиного сада, — прерывает мои размышления Люся. — Авдотья ведь только так, для острастки, просит яблоки покараулить, а сама... пойдём, секрет её раскрою.

Выходим за ворота и натываемся на пяток плетух с отборными яблоками.

— Чтоб ребятня зазря не топтала бакшу, не шмыгала по подворью, каждый год одно и то же: хитромудрая тетка выставляет на Солнцекараул угощенье, откупается.

Возвращаемся в палисадник. Авдотья, спустившись с крыльца, семенил утоптанной до блеска стежкой в наш сиреневый уголок. Прочесав через марлицу удой, несет свежий вчерашний в не облитом глазурью, не изукрашенном никаким узорочьем, а простом глиняном кубане, спешит попотчевать нас парным. Краешком кипенного, в алую да голубую оборку, фартука утирает струйки, сбегаяющие через верх посуды, наполняет эмалированные полулитровые кружки, приговаривает: «Из кринки-то молочко завсегда слащей».

Сдуваем с парного пену, макаем в молодой мед чернушку (Авдотья по старинке раз в неделю вынимает из чулана дежу, заводит хлеба). Смачно прихлебывая, не замечаем, как «выдуваем» парное до последней капельки, до донышка. Теперь и от нас пахнет Звездочкой, уютом и деревенским покоем... ладом...

Люся вспоминает о старушкином сердчании на Федьку, подмигивает мне и подступает к Петровне.

— А Расскажи-ка нам, тетушка Авдотья, чем это тебе пацан Трофимовский не по нраву пришелся?

— Дак, Люсенька, девонька! Язык не поворачивается обсказать, что стервец откомарил!

— А ты не торопись, соберись с духом, времени у нас — немерено, — убалтывает подруга тетку, а сама мне опять лукаво подмигивает.

— Ну, дак что ж и рассказывать-то? Коли напрямки... не крутить обочь, то дело было в прошлые Петровки... Скушно мне, милаи, одной в хате, маятно. А тут двух витинарш-студенток на летнюю выучку к нам заслали...

Тырла-то с весны ишо в Кузькиной балке, за моим городом, обустроили. Девки и напросись ко мне на постой. Мол, ближей с утречка на работу бегать. Молодыя! Нагуляются до зари, спать-то хотца, а уж Миколай стадо выгнал, вот они у меня и прижились. Обе ладные такие. Одна — Мила, курносая, озорная. А Лидия — та важная, статная, все Милу-то степенила.

Ну вот, значить... живут девки месяц, живут другой. Ребята к ним на каких только драндулетках не съезжались. Я из-за витинарш тех напроць сна лишилася. Ушла за амбар, на сеновал. Дак со всего околотка с музыками наедут, заведут свои ящики, на всю округу гвалт.

— Натерпелась ты, вижу, тетя Авдотья, из-за девчат-то? — подшкелывает Люся.

— Натерпелася, милаи, ох и намыкалася! А пуще всех ухлестывал за Милой энтот самый Федюшка Трофимов, Петров сынок, значить. А Милка, вертихвостка, нарошно его дразнит, за нос водит. Догляделась я: то с Котькой Липкиным у мазанки хихикает, то с Григорием Смирновым на лавочке жметса. Федьку — все мимо, да мимо. А он — весь в батьку: ить, яблочко от яблони не далеко падает. У них и вся природа таковская — го-ордаи!.. И на что только непринятая любовь толкает! Это ж надо было до такого ишо докумекаться!

— Не томи, Петровна! — не выдерживаем мы. — Чем дело-то успокоилось?

— А чем-чем! Кабы не тетка твоя, Люсенька, загребли б Федьку-то в кутузку, уж и Степан Семеныч, участковый наш, приезжал, пытал меня, мол, как да что... Ну, погодите... по порядку, значить.

Выхожу я на заре Звездочку в стадо спровадить, вертушок на воротах повернула, а растворить воротины силушки нет. Я уж и так, и этак. Что за напасть, думаю, такая? И коровяком с-под забора тянет, а потом уж и ручей во двор пробился. Я лавку-то подставила, и чуть кондрашка не хватил. Матьер Божья! Вороты сверху донизу жижей навозной залиты, и не отпереть, потому как куча — цельный самосвал коровяку, не мене — воротины подпирает. Разбудила я девок, мол, идите, милки, разбирайтесь, кому подарочек доставили.

Удержаться — нет сил, хохочем до слез.

— Дак вы погодите ржать-то. Дело тем не закончилось. Провела я по-свойски разборки и выявила, что Милка-шкодница вечером напрочь Федыке отказала. Мол, не люб, и все тут.

Тады, думаю, чего ж виновника искать? Федыка! Как есть ен — паразит! Хотела было пожаловаться на него за такое паскудство. Но покумекала, приобчила девок, и они мне за три дня навозец-то за амбар перекидали. Сгодится... Лидию, правда, жалко. Она не при чем, но пуцай и ей наперед уроком станется, как перед ребятами хвостом крутить и что может с того случиться...

Уж они потом вороты-то мыли-мыли! И песком терли, и подсолнухом скоблили, все не берет, покуда порошком сельповским не прошлись.

За зиму дух коровяка повыветрило, осенскими, вешними дождями обхлестало, теперя и не поверишь, какая оказия с моими воротами приключилася. А все Федыка-проказник...

С тех пор и опасаяся, девоньки, кабы он по старой памяти опять какой фортель не выкинул. Вы уж, милаи, коли я по ветхости годков сосну, не допустите. Нынче Солнцекараул, молодежь кинетса чередить, бедокурить. Подержитесь за-ради Христа, приглядите за бакшой, садом, не введите тетку в разор. Завтри отваляетесь. У меня ить на задках (аль не приметили?) шалашик какой-никакой имеется. В самые жары тамочки и обретаюся. Пойдемте-ка, роднай, провожу, а то по темени и не сыщем берложку мою потаенную.

5

Ночь только-только подкрадывается: еще почти различим резной овал прикрылечного клена, еще ластьятся шелковые розетки мальв, разгулявшихся широкими корогодами по Авдотьиному подворью, еще выбеленным частоколом лупастят за бакшой, по краю гречишного поля вымахавшие за последний год березки-самосевки.

Откуда-то снизу, из-под ног, раздается непрерывная, то яростно усиливающаяся, то на мгновенье ослабевающая мелодичная песенка. Звуки ее возвращают меня в детство.

Бывало, бабушка раскинет на крылечке, на свежевымытых половицах, старенький, линиялый полушалонок, принесет с бакши перестоявшие, пересохшие маковые коробочки и примется их трясти-обивать. Аккуратненько так, чтобы маковинки куда зря не просыпались. Спелые маковые зернышки мельче песчинок, шумят в коробочках, на платок выпрыгивают, будто кто детской погремушкой забавляется. А на Маковой замочит бабуля для начинки в молоке мак, пироги-«маковики» затеет. Обьеденье!

Приотстаю от своих спутниц, присаживаюся на корточки у тропинки, замираю. С травами, с кустами, с деревьями сливаюсь — невидима. Потревоженная чужаками песенка прерывается лишь на секунду, но и ее

хватает солисту, неприметно, крохотному кузнечику, чтобы в один скачок очутиться на моей руке и снова, с еще большим рвением продолжить свои вокальные упражнения. Скрипки его не разглядеть, но мелодию прилежный музыкант выводит замечательно.

И товарищи от него не отстают, налаживают инструменты, видать, к концерту готовятся: то там ценькнет, то чуть поодаль протянет. Подключаются все новые и новые. И сад, и подворье погружаются в какофонию. Кузнечики весь мир вокруг расстрекотали. Оркестранты жарят, наяривают, кто во что горазд.

Но это только по первости чудится в их рядах разнобой. Постепенно улавливаю стройную мелодию, начинаю различать тональность крошечных инструментов. Как это я раньше не замечала? Оказывается, у каждого артиста своя неповторимая манера, и играют они на удивление бойко и слаженно. Исполнит кузнечик пьесу, передохнет секунду-другую — и опять за свое. Ну, нет ему жизни без музыки! Уж ведь и звезды на небе прорезались, а ему не спится: выводит и выводит свои любимые напевы.

— Ау! — слышу вдруг голос подруги, — не отставать!

Бегу догонять: Петровна с Люсей уж из виду скрылись.

Наконец, хозяйка, ведя нас какими-то своими путями, останавливается в дальнем углу сада. Лунная дорожка проскальзывает меж рогатин, подпирающих тяжеленные сучья «яровок», и рассекречивает Авдотьино убежище — шалаш, сложенный из двух плетней, поставленных уголком на вкапанные в землю здоровенные ракитовые суки. Судя по тому, что по бокам его бархатными плюшками приляпались мшистые куртины, шалашик этот был когда-то по-хозяйски добротно обложен снопами ржаной соломой. Прогнив, они послужили приютом вездесущих буро-зеленых мхов.

— У меня туточки от гундосиков лапник припасен, — кивает тетка на кучу сосновых веток, аккуратно сложенных позади шалаша. — Костер запалим, коли допекать станут, — хвойный дух гнуса-то в раз изгонит. К вашему приезду сготовилася, как жа!

Подоткнув пересушенного хмызника под дровишки, Авдотья сноровко раздувает костерок. И мы, раскатав вокруг него тетушкины домотканые половики, словно Перовские «Охотники на привале» устраиваемся, полулежа, поближе, чтобы любоваться ярко-золотистыми бутонами пламени, слушать потрескивание пепельно-бардовых сучьев.

6

— Ну, милаи, теперь можно и вздохнуть, об яблочках потолковать, — не выдерживает Петровна, напрашивается на расспросы, ответы на которые знает наперед.

И мы, поддаваясь игре затейливой старушки, чтобы не уснуть, дождаемся ранней зари, когда, по словам Авдотьи, «солнце на Манькином бугре, точь-в-точь как девчонка, балует-потешается, косы алыми да лазоревыми лентами плетет», заходим издалека.

— А отчего этого у тебя, тетушка, яблоко в таком почете — или сливы, груши не уважаешь?

— Дак, энти тожить овощи приятнаи, но наипервейшим, заглавным средь их все одно яблочко. Прадеды наши, кажись, не дураки были, какой почет яблоку оказывали! Это мы со своей дырявой душой все теперь порасшикали, растеряли. Э-э-эх! — вздыхает Петровна.

— Откуда такие древние сведения? Признавайся, Авдотья Петровна, а заодно и нас, неразумных, просвети, — поддерживаем беседу.

— А далеко ходить за своим не надобно. Бабка моя Акулина Силантьевна рассказчицей слыла на всю губерню. Набьются, бывало, с вечера в нашу хату (хоть дож за окнами, хоть буран) и стар, и мал, бабкины побаски слушают. Но... кто теперя знает, было то, об чем она сказывала, аль не было?..

— Ну, так об яблочках что же?

— Ишь, какие нестерпеннаи! Будет вам и об их. Об чем, об чем, а уж об яблоньках да их детушках я никогда не позабуду. Как сказывала бабка Акулина, без яблока встарь — никуды. С рождения оно при человеке, а верней — и того раньше. Посудите сами: собралась девка под венец, мамка ей, как у нас велось, у входа в церкву в правую руку самое красивое, какое только сыщет, яблочко подаст. А как венчание случится, как окрутят, значить, молодых, так невеста должна то яблочко за алтарь закинуть.

— Это зачем же так? — интересуемся.

— А чтоб Господь детушек поболе послал, — дивится нашему незнанию Авдотья, — и все гости должны молодым яблоки, окромя иных каких подарков, преподносить. И все в корзину сыпали. Сколь в ей яблочков окажется, столько ребятишков в новой семье и народится.

И под перину в первую ночь тожить яблоко прятали. А другое молодые (уже в постели) разламывали (не дай Бог разрезать!) пополам и угощали друг дружку с рук.

— Какой красивый обычай! Жаль, не знала о нем, когда дочь замуж выдавала, — посетовала я.

— Об том и толку! Ну, никуды мы без яблок-то. Это наш заглавный плод. Он с нами завсегда рядышком. Народится у каких молодых ребятеночек, с чем отведовать идем? Перво-наперво, опять же, яблоки несем, а потом уж разное-всякое. А встарь как младенчика искупали, так воду не куды попадая выплескивали, а только лишь под яблонь-дерево, да непременно сладкое.

— Вот с этого места, Петровна, поподробнее. Внучата пойдут — пригодится.

— Помню, детьми ишо были, нас у мамки-то семеро девчонок и один единый братик Степушка — и тот последушек... Об чем это я?.. Ах да! С вечера под Роштво приносила матушка в горницу самый большой ушат. Из погреба доставала с полплетушки антоновки и высыпала яблоки в ушат, заливала их ключевой водой, да чтоб никто ту воду до нее с ключа не черпал.

На праздник, перед тем как к заутрене идти, по старшинству мы, сестрицы, значить, все до единой умывались в том ушате. А матушка, стоя за нашими спинами, легонько так по мягкому месту яблоневои веточкой похлестывала, приговаривала, мол, возрастайте здоровыми ды красивыми, чтоб внучатков нам с батюшкой нарожали, чтобы род наш вовек не прерывался.

— Вот это обряд так обряд! — восхищается Люська. — А то понаведывают теперь невесть чего. Заглянуть бы на пару-тройку веков назад — какая красотища! Какие обычаи у нас водились!

— Да, — подхватываю я, — и новых не создали, и старые утеряли.

— Не все запамятовали, скажу вам, милаи... не все, — продолжала вить свою веревочку Авдотья. — Уж откуда прознал, не ведаю, Валерка

Ракитин (молодой, ить, годков тридцать с хвостиком), агроном наш, но только кажный год на Сретенье, чтоб никто не видал (думает, мол, не доглядятся, как жа!..) потемну притаскивает в склад, где посевная пашаница часу своо дожидается, мешка два синапок, что с колхозного саду, да по зерну и распахивает, поглубжей. Яблоки в пашаничку закапывает. Надоть думать, чтобы хлеба в полный колос наливались, чтоб зернышко к зернышку, крупно-велико, как Валеркины яблочки, уродилосся.

Знатная задумка, девоньки, полезная! Видать, парню бабка евонная шептанула. Она, Пелагея-то Карповна, и не то ишо ведает, только таит-ся. Не кажному открывается... мол, не любому те стародавние тайны впрок. Пользоваться ими надо умеючи, со знанием дела... А главное — с чистым сердцем.

7

Вот, к примеру, жила у нас на хуторе пара... Справно хозяйствовала, ничего плохого об их не скажу, и меж собой — душа в душечку. Уж чем они Господа прогневили — кто знает, только год живут, два живут, уж и десять годочков супружничают, а ребятишков — как не бывало! Свекровь-то, Федосеевна, значить, возьми да за пустоцвет и невлюби Катерину. А Миколаю все талдычит, мол, как жа ты, сыночек, без дитев? Сживает свекруха со свету несчастную и все! Муженек, дурья башка, и заведи полюбовницу, Райку с нашенского сельпо. Да ты, Люся, знаешь: крашенная такая, бесстыжая. С одним закрутит, другого от семьи, от дитев отобьет. Ей все одно! Безпризорна-я-а!

Катерине хочь в моток сигай! И надоумили ее люди добрыя, да и я не стерпела (ить, жалко бабоньку, ни за что пропадает!), присоветовала, мол, к Пелагее, милая, подкатись-подластись, уломай ее, несговорную, а для пущей жалости слезу пусти. Она женчина хочь и суровая, но порядок блюдет, справедливая.

Собрала горемышная гостинчиков да опосля Успенья, как работы посхлынули, к Пелагее и припожаловала... Увела бабка Катерину на свою половину, от домашних подале. Потолковала, выслухала, значить, и объявила резолют.

— Перво-наперво, надобно твою муженька «присушить», а потом уж и о детках усердствовать. Знаю я приворот на яблоко. Сказывают, будто он самый надежной, вернейшее средство. Вот его-то мы и спробуем на твоём Кольке.

Ох, сгублю я свою душечку из-за тебя, Катерина, как пить дать — сгублю. Знаешь ли ты, несчастная, что ответ за ворожбу на том свете обе держать станем? Да к тому ж — может так обернуться, что возвратится тебе энтот заговор венцом одиночества?

— Сжался надо мной, баушка, — молит Катерина, — помоги Христа ради! Согласна одной мыкаться, только чтобы дитя у меня народилосся хоть одно-разъединое!

— Ну, гляди, девка, ворожить — не в игрушки баловать. Последний раз предупреждаю: приворот, отворот да любовное чародейство завсегда — так ли, сяк ли, — но аукается! А коли решилась — так тому и быть! — отрезала Пелагея.

И наказала бабочке потайной тропинкой сбегать по росной заре в заброшенный Спиридонихин сад. Да собственноручно с самой нижней вет-

ки сорвать самое красное яблочко. Да смотри, мол, не поленись, в сельпе не прикупи! И пригрозила: «Коли узнаю, хуже будет!»

В самую что ни на есть полночь разрешила Катерина заветное яблочко на половинки. Семечки, все до единого, повыбрала и вынула с груди клочок бумаги, а на ем загодя прописала, как они с мужем прозываются. Бумажку ту взяла в левую руку, а в правой — яблоко, пополам раскромсанное.

И молвила Катерина три раза к ряду: «Как засохнет это яблоко, так и ты будешь сохнуть по мне». Бумажку свою вложила в серединку, а половинки, как наказывала Пелагея Карповна, скрепила деревянными палочками. Для пущей уверенности, чтоб не распалися, алой тесемочкой перевязала. Семечки, одно за другим, съела, а яблочко замороженное дома в чулан, в самое темное место запрятала. Бабка заверила, мол, яблочко начнет сохнуть, и Миколай твой станет сохнуть по тебе.

Прошел месяц, прошел дугой, год миновал, а муженек как блудил с Раиской, так и блудит. Да к тому ж та совсем обнаглела, пустила слух, мол, совсем Кольку с дому уведет.

Катерина — в чем душа теплится, опять к Пелагее, так, мол, и так. А та наперед уж все знает. Шило-то в мешке не утаишь, на деревне только об том языки и чешут.

И решила ворожея на крайний заговор. Наказала Катерине точно также поутру сбежать за яблочком. А полночь подступит, взять яблоко в левую руку и три раза произнести заговор: «Отведаетшь яблочко наливное — любовь мою узнаешь; как любовь мою узнаешь — ответной страстью воспылаешь».

Разговаривать после заклинания никак нельзя. Катерина, выполнив бабкино указание, отправилась спать. А на другой день, не успев неверный глаза приоткрыть, она ему — испробуй, Миколаша, какие-растакые яблочки в Спиридонихином саде произрастают, а мы с тобою и ведать не ведаем. За гусьми ходила — цельной фартук надрала... И из собственных рук подает заговорщица мужу штрифелек. Спросонья, не разобрав, что к чему, схрумал ее разлюбезной замороженное яблочко. А через неделю и думать забыл об своей зазнобе Раиске.

Катерина, конечно, к Пелагее с докладом. От радости в ноги бухнулась. А та: «Вижу я, Катенька, сад вы с Миколаем насадили. Так запомни, девонька, я не ровен час преставлюся, могу не дожидаться, но ты уследи, уж будь добра, коли колыбельку покачать хотца: как зацветет по второму году крайняя от вашей избы яблонька, приметь на ей первый раскрывшийся цветик (подвяжи ленточку, а то ишо как), но не попутай — береги, покуда вызреет с того цветика плод, а как поспеет — уследи, чтобы кто не упредил, до тебя не позарился. Да Митрофановну, суседку твою, в сад не допушай, глаз у ей недобрай.

Сходи с энтим яблочком на Преображение во храм, освяти, как надоть. Да по дороге из церкви (иди одна!) причастись свеченым-то плодом. Ну а коли не случится первое яблочко уследить, ожидай самого последнего. И проделай все в точности, как я тебе обсказала, уж на Покров.

— И что же? — торопит Люся, — помогло?

— А как жа? Иначе и быть не могло! Понесла Катерина. А на другое лето, не будь простофиля, проделала все точь-в-точь заново. Как пошли ребятишки! Дажить двойнятков Господь послал — Витюшку и Маринку.

— Что-то мне в это не совсем верится, — размышляю я вслух.

— А ты не сумливайся, лучше завтри по хутору пройдишь. Что не встретишь ребятенка, то Катеринкин... Во как, милаи, бывает! — радостно подытожила Петровна, словно не у Катерины, а у нее самой полон двор ребятишек.

8

— Вспомни, тетушка Авдотья, еще что-нибудь про яблочки! — подластиваемся, словно дети малые.

— Давайте-ка я вам лучше на наливках погадаю, — предлагает старушка.

Как тут не согласиться? Такого гаданья отродясь не слыхивали!

— Я и Прошу мово на яблочке нагадала, разглядела, — закручинилась вдруг Авдотьюшка. — В последний день октября, в канун Дня Всех Святых, расплела я косы... уж на печку собралася, ко сну потянуло. Матушка с батюшкой, сестрицы — все затихли, почивают давно, ночи-то осенские ранние, длиннющие. А я по ту пору скатерку вышивала, зароботалася.

Сижу, значить, перед зеркалом, волосы на ночь убираю, а из-под лавок антоновкой так и тянет, так и тянет. Плетух пять к мочке готовилось, улеживались. И захотелось мне яблочка. Да так, что утерпежу нет! Выбрала я, что покрасивше... грызу антоновку, расчесываюсь, а сама в зеркало гляжусь. И вдруг! Уж сколь воды с тех пор утекло, а как вспомню — мурашки по рукам-ногам и забегают. А тогда — прямо обмерла... С левого плеча в зеркало вместе со мной кто-то смотрит! Я не сробела, пригляделась — Прохор Емельянов!

Видать, так уж по судьбе прописано — на Покров сватов заслал, а после Филиппова поста, на другой день Роштва, повенчались...

Но скажу вам, милаи, что гаданьице на яблочке с капризом, не каждой девке поддается. И что только не делала моя товарка Зина Рябова, чтоб на суженого в зеркале хочь одним глазком поглядеть. Сколь яблочек извела, дажить самый сурьезный манер испробовала: разрежет, бывало, антоновку, аль штрифель какой, на девять частей, восемь, отвернувшись от зеркала, съест, а последний кусочек, девятый, бросит через левое плечо. Тут-то бы и надо суженому явиться, ан — нет... Так к Зинаиде никто за всю жисть и не посватался. А вы, небось, сумливааетесь, народ все больше картам верит. Карты — что? Бумага! А то — яблочки! Почитай, живое существо!..

Правда, как ко всякому делу, к энтому тожить надо относиться сурьезно. Безо всяких там усмешков-ухмылочков. Хрукт должен знать, что вы в него верите, на него надеетесь. А чтобы он доверие ваше почувал, — старушка протянула нам по ядреному яблочку, — положите на колени, а руки сомкните кольцом вокруг яблочка. Да повторяйте за мной: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!» Глаза-то прикройте. Да ни об чем ином, окромя свою яблочка, не думать!

Сидим минуту, другую...

— Ну, теперя, кажись, в самую пору! — командует Петровна.

Смотрим: в руках у нее, откуда ни возьмись, ножик.

— Срежьте верхушки так, чтоб можно было увидеть семечки. Кром-сайте пополам — не ошибетесь, — советует старушка, — коли семечки звездочкой с одинаковыми концами улеглись, значить, знак вам яблочко хороший подает.

Тут и в нас лобопытство разыграло. Режем!

— Ну, вот и добро, все, как надоть! — радуется, словно за себя, Петровна.

Радуемся и мы: счастливое будущее обеспечено!

— А хотите, научу вас яблочные сны разгадывать? — не унимается тетушка. — К примеру, увидишь во сне сладкое яблочко — к добру, кислое — к худу.

— А червивое? — потешается Люся.

— Ну, дак это всем известно — пренебрежительно к досаде.

— А если мне дарят корзину яблок? — ставлю перед Петровной неразрешимую задачу.

Но Авдотью врасплох не застанешь.

— Полную, али так, на доньшке? — уточняет, озоботившись вопросом, старушка.

— Ну, пусть будет полная, — решаю я.

— Так энта загадочка простецкая. Мы и не такие распутывали. Каждый скажет, сон тот — к большой любви! — тоном, не терпящим сомнений, заявляет Авдотья Петровна.

На мгновенье она затихает, но спохватывается, мол, кое-что запомнила, не досказала, и продолжает свои побаски.

— А то ишо знаю я цыганское поверье... Как-то за околицей табор ихний у нас заночевал, а я, чтобы цыганяты зазря моркву али другую какую овощ не таскали, накрядила плетуху, ды сама и припожаловала: принимай, бродяжий народ. Тут-то мне вместо спасибо, значить, старый цыган ихнее древнее поверье и нашептал. А я теперя его всем молодкам по простоте душевной открываю: пользуйтесь, девоньки, не упускайте счастья-то свою!

А сообщил мне цыган такие слова: «Коли желаешь увидеть во сне суженого свою, дак накануне Дня Святого Андрея загляни к вдовице и выпроси у ей яблочко наливное. Коли пофартит, не благодари за подарочек (уж так сказывал цыган), съешь половину его до полуночи, а другую — после полуночи. Жених той же ночью и приснится».

Сидим, Авдотьюшкины колядки слушаем, голос ее — словно ручеек непересыхаемый: журчит, баюкает. Веки мои тяжелеют, глаза то смыкаются, то широко раскрываются от удивления на очередную тетушкину придумку.

— А давайте-ка, девоньки, сказки сказывать. Но только, чур, об яблочках, хочь об наливных, хочь об молодильных, — предлагает неумная Авдотья и, не дожидаясь нашего согласия, начинает: — В некотором царстве, в иноземном государстве, при царе Горохе, при царице Чечевице жил-был мужик. И было у него три козы...

Глаза мои напрочь не слушаются. И вдруг вижу я, как по проселку цыгане катят, а впереди старик в алой атласной рубахе. Выгружаются из кибитки и всем табором напрямик на Авдотьюшкино подворье. И выставляет вожак их на круг хоботную плетуху, точно такую, что я под сараем у тетушки Авдотьи приметила. А накрыта она темной цыганской цветастой шалью. Подходит старик к нашей Петровне и ну уламывать: «Махнем, Петровна, не глядя! Я тебе — то, что в корзинке, ты мне — то, что у тебя в саду имеется, а ты про то знать не знаешь и ведать не ведаешь!»

Я с цыганами еще во-он когда наотрез отказалась дела какие иметь. Шепчу: «Авдотьюшка, миленькая, простофиля ты раздушевная! Хоть так крути, хочь эдак, а без обмана тут не обойдется». А старушка будто и не

слышит меня вовсе, заинтересовалась, вижу, предложением цыгана. Вот-вот по рукам ударят. Тогда я не выдерживаю, вскакиваю да как закричу: «Ах ты, хитрюга! Нет тебе веры! Все — сплошное надувательство!..»

Люся с Петровной прямо остолбенели.

— Это какое такое надувательство? — обижается Авдотья. — Ить, я ж от всего сердца! Вас потешить... Дак и коза-то мужицкая тех молодильных яблочков и видом не видывала. Мужик, ить, сразу царю об том толковал. Разишь она б, посуды сама, козой-то осталася опосля такого чародейского лакомства? Прослухала ты, касатка, а ж намекнула, мол, дочка пастушья по ночам в лес от батюшки ныряла. Ударится оземь, вспорхнет Жар-птицей и — в царской сад... Какой же тут подвох? Ить, детям малым понять, что орех разгрызть — яблоки молодильные девке пуще жистюшки надобны. Сынок-то ейнай — лягушонок лягушонком. Ай, не помнишь, Яга-то ей местюшку-сухоту в самом начале состряпала, кады платочек Марьюшка обронила, а та, растреклятая, на ем и сворожила, — пытается добраться до справедливости Петровна.

— Да ей спросонья, видать, что-то привиделось! — хохочет Люся.

— Сморило, знать, милая. Не мудрено! Уж вторые петухи отошли... Знать, нынчи ребята шкодничать опасаются, костер издалече чувт, дак я и смолкать не смолкаю, по ночи-то эвон где слышать!

— А не испить ли нам фирменного Петровнина чайку? — Люся, чтобы я хоть как-то приободрилась, вползает в шалаш, гремит посудой и ставит на костер копченый-перезакопченный чайник.

— Это что ж за чаек такой особенный? — пытаюсь сопротивляться сну, делаю вид, что меня по-прежнему все, что происходит под этими «молодильными» яблонями, чрезвычайно интересует. — Чай — в любом случае, хорошо. Так что за напиток?

— Чай как чай... Я завсегда им потчуюсь: липовой да земляничной цвет, опять же вишняк, чуток зверобойцу для цвету. Пошуруй там, Люсенька, в мешочке, я уж все стоговила, перетерла. Чашки тожить в шалашике, на сучке в углу, — командует Авдотья.

Чай у нее, и правда, замечательный, к тому ж на костерке томленный (травки прямо в чайник засыпали). Испили по паре чашек и как на свет народились. Свежи, бодры, снова готовы хоть до зари Авдотьины прибаутки слушать.

9

— Это как же так, тетя Авдотья, получается, что у всех ни шиша, а у тебя — ветки прямо ломаются? — задаю, наконец-таки, долгожданный для старушки вопрос.

— Дак как-как? — Петровна обустроивается поудобнее, потому как дождалась-таки своего часу. — У всех хаты-то на взгорье, а я, как ставили, засупротивилась, мол, хочу на долу, на просторе, и все тут. А теперя вон как обернулось! На горе-то — сушь, сады порохом зылися, а у меня все ж таки низина... Но и здеся б урожая кот наплакал, коли не сосед мой Мотя. Матвей Сидорыч, значить... А по-нашенскому, по-уличному — Мотя Нечаянный.

— Это что ж за сосед у тебя, Петровна, садовод, что ли, агроном?

— Да какой там агроном! Водощуп простой... А может, и не простой... сами судите. Всю жисть при воде: при ручьях, речушках да криничках. Колодцы по округе обустроивал: сам место сыскивал, сам копал, сам сру-

бы рубил. При том и в хате — сам-один, бобыль-бобылем... Я его по-суседски жалею. Он при деле, а я за хатой пригляжу (чай, не переломлюсь), кринку молочка, десяток-другой яичков (али жалко?) нет-нет да на крыльцо по-тихому, а то не примет, поставлю. Осерчает, расжурится! Но не откажет... Как не взять-то? Свое ведь, суседи!

Смотрел, смотрел Мотя, как я то с ключа, то с речки на коромысле ведры таскаю (знал, что яблоньки мои для меня — все), и занялся «водяным обустройством». Мне за такого благодетеля молиться до скончания веку... Ить, вы дажить не приметили, а у меня вода в каждом угле. Мол, чтобы тебе, Петровна, за сердешность твою, сад не в тягость, а в радость был.

Чебурахну с пяток ведер под корень, напою свои наливывы-пепинки, а они мне в ответ: «Получай, Авдотья Петровна, яблочки, сама угощайся да людей добрых не забывай!» Хочь в жарень такую сады поспевают куды раньше, я ведь до Спасу-то сама ни-ни! Как жа можно до Спасу-то? Сперва надобно осветить, благословить новый урожай... Понюхаю токо, порадуясь, а то мальцам, душечкам ангельским (им-то Господь дозволяет), на плес полной фартук, а то и целную верхом плетуху отопру. Пуцай у воды похрумкают, на речке завсегда голодно.

— А что за кличка такая у соседа твоего, Петровна, с чего это он — Нечаянный?

— Э-э! Девоньки! Об том сказ особай, — вздыхает тетка. — Кто б иной, а то, ить, сам себя так перекрестил.

— Как так?

— Дак он и прав. Всамдели Мотя — нечаянной. Нечаяннорожденной, значить. Да к тому ж — на воде. Может, из-за того и ключи подземнай (скрозь какую толщ!) чуят. Водица сама ему в руки бежит.

— Прямо сказки, да и только! — дивимся мы.

— Ну какие вам, девки, сказки, — обижается тетушка. — Вот чичас обскажу, согласитесь: все как есть — суцая правда. Разишь я могу что ни попада болтать? Не по годам это мне вовсе... Сказки... Скажут тоже!

— Да мы это так, не подумавши, — извиняемся перед Петровной.

— Ну, дак вот, — начинает издалека отходчивая старушка, — много воды утекло в Кроме с тех пор. А случилси тот случай в году, кажись, сорок втором... Под немцем в ту пору Ключики томилися...

И жила у нас на хуторе, в крайней с Ньюшиного урынка хате, семья... большая, до тридцати душ за стол садилося. А заправляла у тех-то Паниных бабка Фекла Поликарповна. Не баба — мужик в юбке... Сурова-я-а! Ну, дак иначе при невзраченьком мужичонке и не получится. К тому ж по ту пору из всего мужицкого полу остались в Ключиках деды трухатрухой да мальчишки — самым старшим, тем, что в неметчину не угнали, по пятнадцати. Но в сурьезные лета дети взрослеют куды как скоро!

Как и во всех, у тех-то Паниных ... Проводила, значить, Фекла один за одним шестерых сынов, а там и мужика своо Сидора собрала... Сыны по тому времени уж обженатые были, снохи внуоков рожали — по две люльки за раз качали в ихней хате. То была Фекла за командира, а теперь и вовсе все на ее плечах. Жили-то Панины одним домом.

Вот и случись у Феклы недогляд. Дак где ж со всеми управиться? Две самые младшие снохи, бабоньки озорные, у одной уж и ребятеночек имелся, возьми да и забалуй-загуляй!.. Приладились спать на сеновале. Детишки при Фекле, в горнице. А они ударились по ночам в Заречье, на улицу. А кавалеры по то время какие? Пацаны-недоростки.

Недоростки-то недоростки, а ребятишков Зинке с Муськой сделать росту, видать, хватило. Понесли, значить, обе бабы и от свекрухи скрывают. А той за работой, за внучатами и невдомек, что снохи набедокурили.

Подоспело время Зинке рожать. Что делать?.. Запрягает Муська кобылу, Зинку в сено и — прямиком в Заречье, к Зинкиной матери. А куды ж ишо-то с таким прибытком? Мать осерчать осерчает, а сгибнуть какая ж допустит?

Докатели бабы до плеса. А тут Зинка и не стерпела, возьми да и родись! И порешили бабы — видать, со страху — дитеночка (сказывают, девчушка была) утопить. А как камушек-то к нему подвязывали, раскричался он, сердешнай, знать, погибель свою зачуял.

Кобыла тожить — на дыбки! Знать, недоброе смекнула, рванулася от злодеек и — до хаты.

— А ребеночек? Ребеночек-то что ж?

— Знамо дело, что... сничтожили, раз надумали...

— А другая-то как же?

— Муська-то? А как ей пришел срок, дак они уж ученые были. Ушли к вечеру, мол, купаться на речку. Думали, тем же макарком справятся.

Но не тут-то было! Не допустил Господь нехристям еще одну душечку ангельскую сгубить... Заподозрила свекруха Фекла неладное и кусточками, кусточками — за ими. Только собралися душегубки младенчика топить, свекровь с берегу как закричит, как запричитает: «Ах вы мерзавки, да что ж вы такое удумали? А подайте чичас жа ребятеночка! А то крик подыму, хужей будет!»

Делать нечего — отдали злодейки Фекле дитенка... Так вот Фекла Поликарповна нечаянно и спасла мальчонку. А нарекли его Мотей. Матвеем, значить...

Трех сынов и мужа у Поликарповны отняла война, а Сидор с двумя братьями возвратился. Мужик он — добрейший. Простил свою блудную Муську и Мотю признал...

Фекла наказала снохам языки прикусить да помалкивать о Мотином рождении. Но, как это частенько бывает, не поладили однажды бабы из-за какой-то безделицы и растрепали в скандале все свои тайны... А уж когда Мотя в разум вошел, деревенские не поленились, прояснили ему, как он на свет Божий появился... Нечаянно... С тех пор он все больше на эту кличку и отзывается.

— Ну и рассказчица ты, тетушка Авдотья! Хоть роман пиши! — оценили мы Петровнину историю.

— Милаи-и! Сколько я таковского знаю — бумаги не сберешь записать-то!.. Схожу взгляну, чтой-то не припомню, ворота на шшиколду затворила ай нет. Свет на крыльце уздую, мол, сижу, солнца дожидаяся, и ицо про чего-нибудь обскажу, да хоть про того же Нечаянного. С им пряма беда: фортель за фортеlem всю жисть приключались.

И наша рассказчица, подкинув в костер полешек, уверенным шагом скрылась за деревьями.

Не прошло и двух часов, как мы обустроились у теткиного шалашика, а воздуха загустели, будто трехсуточные сливки, вместе с ними засметанились, смешались цвета и краски. И вот уже из них воспарили в сиренево-перламутровом оперении, словно райские птицы, легчайшие

дымки-туманы. Эти дивные видения разлетелись, расселись в полумраке июльской ночи по ветвям Авдотьиных яблонь. И чудится, что луна, прищулив свое вещее око, принимается ворожить, нашептывать на тарбарском наречии заговоры и заклинания непутевым, невесть откуда явившимся залетным ветеркам, принявшимся раскачиваться, словно на веревочных качелях, на ветвях могучих раakit, изгородью окруживших Авдотьино подворье.

И вот уже тетушкина пятистенка начинает поеживаться. Лунный свет бело-голубыми струйками просачивается сквозь листву, капает на траву, растекается, шарит по стежкам и полянам, словно забавы ради играет в прятки с неугомонными сверчками.

Из-под навеса, что притулился к осевшему на задок амбару, доносится чуть слышная, но непрерывная возня. Гуси, сумасшедше гоготавшие день напролет, ненавидящие табуном бесстрашных птичьих сердец игривого, никому не дающего покоя песика Кудряша, хоть и расселись на ночлег, но на всякий пожарный, поближе к его конуре: сплетничают и, шепелявя, шушукуются о его проделках. Кудряш снисходительно относится к их соседству — да и одному как-то не по себе оставаться средь обмершего, затихшего до зари двора.

Не успеваем насладиться июльской полуночной тишиной, как на свет распалившегося костерка с полным фартуком яблочек выступает Авдотья.

— Вот ведь сорт — один, земляца — одна, а вкус у яблочек с каждой яблоньки разнит. Прямо как дети: и мать — одна, и воспитывала сама, а ребятишечки — все разные, всяк со своим карахтером, — Авдотья берет висевшую на суке корзину, высыпает ядреные наливки. — С этой яблони, что у дальней калитки, самые вкуснющие. Чичас хмызнику нарежу, станем наливки печь. Самосевок сокрушил, вишняк весь угол за шалашом отхватил.

Насаживаем на вишневые палочки по паре яблочек, чуть утаиваем пламя (чтобы печево не закоптилось), сидим, яблочки, знай, поворачиваем, Авдотьиным побаскам дивимся.

— Как обженился Нечаянный, — продолжает сказывать Авдотья Петровна, — жисть его и вовсе не задалась. Жена — змеица, а тещичка — и того лютей. Погибель, да и токо! Работать бабы не изволят, все Мотя да Мотя. И на бакше — Мотя, и в поле — Мотя, и на подворье — в те же руки. Делов на земле цельнай год невпроворот. Помер бы сердешный, коли не случайный случай.

Прикатил к нему однажды из соседнего району друг армейский. Глядит: умотали домашние мужика, в чем дух держится. То с одного конца двора, то с другого: Мотя, боровку задай, Мотя, курям сыпани. Посочувствовал дружок несчастному Нечаянному да кое-что присоветовал.

Отгостевал, значит, Мотин сотоварищ (все по хозяйству подмогал) и укатил восвосяси. А надоть сказать, у Мотиной тещи проживал Ферапонт, кот, каких отродясь деревня не видывала. Весом — с хорошего барана. Лодыряга несусветнай! Дармод, одним словом. Все на ручках у тещички придремывал да сметанку трескал. До того закоштовался — и то ему не по ндраву, и это не в сласть. Бабы всполошились, мол, исхудает котейка на одной сметане сидеть.

Отлучилась как-то теща. Видать, по нужде, иначе с Ферапонтом расстаться не могла. А Мотя, не будь дурак, изловил котищу — да в дальний амбар, куды бабы вовек не заглядывают. А что им там делать? Там все

Мотя обрелался: дровишки колод, грабли-метлы востожил. В тот сарай, проверив, чтобы наружу не было никакого лаза, и упрятал Мотя тещино-го любимца. Воды не оставил, а из корму — хамсы пересоленишшай! Ки-лограмма два. Пущай, мол, нашенскую, людскую пищу спробует.

Уж как падали-искали распропащего Мотины родственницы! По всем улочкам-урынкам. Как канул! День — нет, два — нет, неделя — нет! Уж зачем понадобилось Мотиной жене за старый амбар, может, китаек по-собрать (там у них сильнющая китайка произрастает). Слышит: ай хри-пит кто в сараюшке? Да то — Ферапонт! Уж и голос потерял. Только она дверь остороженько отзынула, кот как шаркнет! Чуть с ног не сбил и — к корыту, что во дворе про гусей держалося. Сказывают: уж он пил-пил, пил-пил, потом глаза закатил, думали: дух — вон! А он отвалялся да на-утек! Так след его с тех пор и простыл.

Ну, разве ж могли Мотины тиранки простить ему такую выходку? Поедом ели. Так и сжили со двора... А может, и к лучшему? Бобыльству-ет Нечаянной, зато живой, а то бы давно запахали б его бабы, пал бы от тягловой работы, будто конь в борозде. А сейчас что жа? Сейчас сам себе голова. Да и работа на вольном духу. Еще поскрипит Нечаянной...

— Конечно, покопчу еще Божий свет. — От забора, точнее, от ряда черносливника, что разделяет, а скорее, объединяет Авдотьину усадьбу с соседской, выступает старичок. — Обо мне, что ли, речь ведешь, Авдотья Петровна?

— Дак не нахваляю никак гостям свою суседушку, — горлицей гур-кует Петровна. — Присаживайси до нашего шалашу, Матвей Сидорыч, яблочком с жару угостися.

Наливки румянятся, кожаца чуть скукоживается, растрескивается. Закипая, соки шипят, капают на вишневые поленья. Крепкий запах виш-няка смешивается с тонким яблочным ароматом, и вкуснющий дух вместе с дымком расплзается по саду, проскальзывает сквозь поросшую хмелем и повиликой изгородь, подымается с низины на хуторскую улочку.

Сидорыч ступает в освещенный круг, а на дерева откидывается его громадная тень. Старик обходит костерок, присаживается рядышком с Авдотьей, и тень его прячется, прилипает к стариковской сутуловатой спине. Матвей Сидорыч потчуется яблочками, советует: «Что зазря коп-титься? Яровичек насыпать, хочь цельное ведро, да в жар и закопать. Не успеешь и почесаться, а уж нате-пожалуйте, кушайте с почтеньцем!»

Петровна всплескивает руками, мол, как это она упустила, не доку-мекала, разгребает костровище, водружает ведро, обсыпает с боков пере-свечивающимися бордовыми угольями.

— Жарковато тут у вас, однако. — Старик расстегивает душегрей-ку. — Ну, Авдотья Петровна, все ключевские байки поведала или мне чуток оставила?

— Дак разишь я за тобой, сердешнай, угонюсь? Куды мне! А и вза-правду, Сидорыч, потешь девчат, обскажи им про наше житье-бытье.

— Я что же... я завсегда готовай. Имениннице отказать грех! Только слухать слушайте, а верить ли, нет ли — уж сами решайте.

— Это у него присказка такая-то пренебреженно. Он без ей ни одну побаску не сказывает, — вставляет Петровна, усаживается поудобней. — Об молодильных яблочках я вам сколь повыложила, аж заморилася. А вот об колодцах с живой водой уже Сидорыч досконально, без утайки прояс-нит.

— С чего начать-то? Прямо и не знаю... Вода — она и есть вода... Это дажить — не обидься, суседушка — не молодильные яблочки из твоего сада. Самой жисти не станет на Земле, коли высохнут родники, реки, пруды да озера. Ить, ручеек, что из родника выбегает, сначала малой речушкой, а потом уж и Окой, Волгой по долинам вьется, к морям-океанам спешит, словно ниточка на клубочек наматывается. И ниточка та — живая... нас не только со стародавним прошлым, но и с предалеким будущим повязывает.

Если призадуматься, то и облака — небесные колодцы да реки. С холодами запираются они на сто амбарных запоров, ни капельки из них не прольется. Но лишь брызнет вешнее солнышко, распадутся ледяные оковы, отворят пути дождевым потокам. И ухнет наземь живая, целительная водица, смешается с тальми снеговыми водами. И воскреснет к новой жизни обмерший за зиму мир, нальется, подпитается силами плодотивыми. Коли пригубишь, а того лучше — сполоснешься ею, окрепнет тело, затянутся телесные и душевные раны-хворобины. Почуешь, как жисть с кажным глотком в тебя вливается, заполняет радостью и сердце, и душу.

— Где-то я уже об этом слышала, — подначивает Люся. — Уж не в сказках ли о живой и мертвой воде?

— Так я об том и толкую. При ей, поилице, кой год состою. Норов изучил до капельки. Может, не только твое сказочного богатыря, но и любова-кажнова хошь на ноги поставит, хошь сгубит подчистую. Прино-равливаться, не рубить с плеча, с природы сосматривать надобно... Она, милая, все знает, всему научит, знак подаст, коли сам до чего не докумекаешь.

— А что же мертвая вода, Матвей Сидорыч, взаправду есть или о ней одни только выдумки?

— Какие ж выдумки?.. Первые дожди сгоняют с земли остатки мертвых снегов, а только потом, как загуркуют новорожденные громаы, хлынет на мертвую воду живая. Иначе никак нельзя... Иначе как жа?..

— Мудрый ты, Матвей Сидорыч! Прямо боян, какой древний. Вишь, как сказочку обернул! Богатырей обычно сначала мертвой водой сбрызнут — раны затянутся, и только потом уж живой — воскрешают.

— Сказок про то не считано, да вы их с детства — наизусть помните. Не хочу зазря болтать.

— Ну дак своо чего пообскажи, ить, ты в энтот деле мастак! — рассказывает Петровна.

— Хочь проще воды, кажись, ничего и не бывает, но она ведает столько тайн, что нам их вовек не разгадать. К примеру, водная гладь спокон веку слывает границей между «тем» и «энтим» миром, а значить (сами догадываетесь) — путь на «тот» свет, никак иначе!

У нас вот соберутся бабы гуртом, да ты и сама, Петровна, чай, с ими и на Параскеву Пятницу, а то на святого Николая — к речке. Гостинчика, мол, заупокойничкам, матушке с батюшкой по протоке справить.

Как-то был я в Орле, зашел в храм... за здравие, за упокой поставить. С батюшкой опосля службы чуток потолковал, кой-чего для себя прояснил. Сказывал отец Константин, мол, было дело, поклонялися наши пращуры ключам-рекам. К примеру, у Нестора прописано, что в стародавние времена русичи «кладезем и езерам жертву приношаху». Но уже у Ки-

рилла сказано: «Не нарицайте себе бога ни в реках, ни в студенцах». А вы, суседушка, с бабами все греховодничаете!

— А вот поведай-ка ты нам лучше, Сидорыч, отчего это на крышках твоих колодцев по тяжеленному замку прилажено? — Петровну так-таки, запросто, не взять. — Ай опасаясь, вода с их куды сбежит? — любопытничает, словно и не замечает Мотиного укора Авдотья. — Ить, милаи! Вечером, после заката, хочь в метель, хочь в ливень Матвей Сидорыч обходит обходом все свои колодцы и запирает на ночь. А с утречка, как забрезжит, — снова отворяет.

— Догляделась-таки! Я, чтоб хуторских зазря не баламутить, старалси втихоря. Ну, разишь от наших утаисся!

Ладно уж, откроюсь... Как-то, лет пятнадцать назад, припозднился я... возвращаюсь с Богородицкого ключа (купель обресья к Святой Параскеве сладить, торопился, днями в Репейной балке пропадал), иду, значить, тальничком... а туманище — руку протяни — пальцев не видать. Слышу: плескается вроде бы ктой-то в омутке. Разглядеть, хочь паялься, хочь не паялься — куды там! Как в бане! Пробираюсь, значить, наощуп... Осподи ты Боже мой! Дажегь вспоминать срамно! Рассказал бы кто — ни в жисть не поверил! Чую: хихикает ктой-то вокруг меня — то справа промелькнет, то слева. А потом уж я и вовси потерялся, потому как принялся меня те смешливые пшикатать да одежду стягивать. А сами не открываются. Хватят меня — и в туман. И знай себе — хихикают, и чую: к речке тянут. Ну, думаю, как пить дать — утопить уздумали! Пропадет ни за что ни про что моя головушка. Крест накладываю, а они, анчутки, пуще того верещат, не отступаются.

Словил одну... Пригляделся: девка! Голая! Кажись, из ненашенских, кудлы длиннюшша! В тине, в ряске, морда синюшная — знать, у Стриж-бережка чупахалася. Там глины такой-то немерено. Ну, думаю, водянка попалася! Осерчал! Чичас выясним, какие они, растакие, из себя и пошто надо мной изгаляются!

Но тут как навалятся на меня ее товарки скопом и — в омуток. Уж я бултыхался с ими, бултыхался, отбивался, еле выскочил и — наутек, городами! А они, лоскоталки-то, давай мне вослед хохотать да на ивовых ветках, как на качелях, качаться. Потом в омуток посигали и ну беситься!.. В одном исподнем домой прибор!

С тех самых пор и поверил я, что у нас в Кроме нечисть всякая-разная обретається. Раньше-то думал, мол, понасочиняли, выдумки все бабьи. Ан вот ведь, на своей шкуре спробовал. А ить ишо деды наши знали: «Черт огня боится, а в воде селится», «от воды всегда жди беды», «где вода, там и беда».

— Кады, кады, ты говоришь, с русалками-то чебурахался? — интересуется Авдотья. — Кажись, в том годе у меня на фатери девки, с заводу на прополку пригнаные, проживали. Смешливые такие, баловитые. Все, бывало, опосля работы гуртом на омуток бегали. Уж не они ли тебя под Стриж-бережком испуцнули? Сумливаюсь я, Сидорыч, чтобы ты с глазу на глаз с чертовками встрелся.

— Разишь я простую девку от русалки не распознаю? — обижается Нечаянный на Авдотью. — Ить, скользкаи... гольцы-гольцами... не споймать, — оправдывается старик.

— А пошто ты их ловил-то? — фыркает Петровна. — На кой ляд они тебе сдалися, старый ты фулюган!

— Скажешь тоже! — смущается Сидорыч. — Говорю ж, отбивался,

думал, что уташнута в свои хоромы, задержут... а время-то тикаит, я купеленку не до конца справил, некады мне с ими гулюшки гулять... А колодцы — запираю... Как не запирать? Особливо на Зеленые Святки. Сказывают, мол: на Троицу да на Духов день у нечистых самая гульба. Как жа дозволить водицу осквернить? Никак нельзя! Ить, колодец — место «чистое», завсегда у нас знали, что находится он под покровом Богородицы да Параскевы Пятницы. А чтобы перебить ту святость и чистоту, валом сигают в колодези хвостатаи да рогатаи, будто не вода в них плещется, а мед липовой. А на Благовещенье прямо напасть — что ни криничка, что ни родничок, то купальня для самодив да вил.

Обнаружив такую осведомленность, мы подступаем к старику с «водяными» расспросами. А он тому и рад.

— Ить, вы думаете, отчего наш хутор Студеными Ключиками прозывается? По моему реестру — ключиков тех-то до пятидесяти единиц сбегется: по Репейному долу, по овражкам за Терлич-кулигой, да, почитай, по всем лесным неудобьям.

В самое распутье (нынче Велик день ранний), на Пасхальной седмце в праздник «Живоносный источник», батюшка, что служит в восстановленной Сергиевской церкви, совершил водосвятие под горой Поповкой.

— Дак, Сидорыч, они, поди, и не ведают наших чудес, — встречает Авдотья, уж очень хочется ей поперед рассказчика забежать, поведать своим гостям о «случайной случайности» — чуде небывалом. — Старики сказывают, мол, как церкву-то в двадцать седьмом нехристи взорвали, ключик, что притулился под самой Поповкой, осерчал. Возьми да и пропади. В одночасье сгинул. Куды подался, где на волюшку вышел, кто знает? А только на том злосчастном месте отказался на мир Господний глазком своим глядеть. Видать, жутко ему стало от богохульства, что учинили анчибелы над храмом Божиим.

Дак речь, милаи, вот об чем... Два года назад, под летний престол, под Сергов день, значить, поднялся на взгорье новый храм. В то самое время, когда весь люд нашенский собрался на его освящение, ударили в колокол. Мол, радуйтесь, люди добрые, что опомнились-таки, повернули на дорогу праведную.

Приподнвишиеся Светлана Митина да Валя Котова торопились к храму и на то-то времечко поровнялися с колдобинкой, что не зарастала ни тальником, ни травой какой, все песочек да галечка (видать, часу сво-во дожидалася). Прибегают, значить, бабоньки и сказывают, мол, как только перезвон с колокольни спустился в ложбинку, у них на глазах прямо с-под земли струя в поднебесье ударила, потом все тишей и тишей. А как голбец мужики подле церкви установили да на ем иконку водрузили, родничок и совсем успокоился, заворковал довольно, словно и никуда не сбегал... Освятили родничок тот, как не освятить? Сидорыч тожить приобчился, все как надоть сладил: и дубком обнес, и чуть пониже купеленку соорил. Спасибочки, Матвей Сидорыч, Божье дело! Пренебременно зачтется... Господь все видит... — И Петровна, скрестив пальцы, складывает руки на груди, затихает, всем видом своим дает понять, что все, что знала, не утаила, и теперь очередь Нечаянного возобновить свой рассказ.

Старик не заставляет долго уговаривать.

— В округе нашей много родников и ключиков. Но у меня есть свои любимчики: К примеру, Акулинина криничка. Родничок вроде бы и кро-

печный, на водица в ем — сладчайшая, пьешь и не напиваешься. Уж я и пригоршнями, и картузом! Секретец у Акулининой кринички имеется. Родничок тот меж двух бугров, аккурат вдоль ложбинки прорезался. На склонах — рощица пресветла-я-а! Вместо травки-муравки меж берез все земляничник, а подлесок — сплошной малинник да куманичник. Водца-то — что морс ягоднай!

А то вот ишо — Феклушины ключики. Ты-то, Люсенька, не знаешь, а вот Петровна не даст зазря трепнуть: коли к большаку не по деревне пойти, а резануть напрямки, через Почуй-дол, дак метров с полста от спаленного грозой в прошлом годе вяза в самой гушке кипрейника (чичас туды уж и стежка натоптана) рядышком несколько ключиков воркуют, а самый наиглавнейшай — в середке.

Как-то вспомнился мне бабки моей Поликарповны сказ... Усадит, бывало, нас, внучков, на колени да вокруг по лавкам-тубареткам, слушайте, мол, и помните, может, кады сгодится, жисть у вас о-о-н какая впереди.

Так вот... Давно то было, как раз Деникин с-под Кром на нас попер. Кто уж там виновнай — поди теперя разберися, белые, красна аль зеленая, токо занялася деревянная церква Преображения Господня да в одночасье обернулася в гору пепла. Ну дак каменные храмы в то лихолетье не сдуживали, а то старая деревянная церквушка!..

— Помнишь, Люся, по калубнику ходили, попить на долу сворачивали, ты ишо кипряка охапку надрала?.. Ить он, кипряк-то, по погорелью буйствует, — не может не напомнить Авдотьюшка.

— Вот-вот об том ключике толк и веду. Сколь уж годков, как преставилася Поликарповна... Царствие ей небесное... А лет пять назад очнулся я вдруг среди ночи. Почудилось... так явственно... бабка мне: мол, что ж ты такой-разэтакой, колодцы рубишь, купеленки ставишь, я, ить, наказывала об Феклушином ключике позаботиться. Аль запамятовал? Не след святой источник в запустенье содержать. Родничок тот не простой, с-под самого алтаря Преображенского забил.

Не поверите... еле до рассвета утерпел. Чуть забрезжило, струмент в руки и — на Почуй-дол. Весь кипряк перемял, но родник сыскал...

— Что жа ты, Сидорыч, замалчиваешь? — пощуныла соседа Авдотья. — Ить он, милаи, святое место в должный вид привел. И крест дубовой, и образок — все как следно... Теперя откуда-ниоткуда к нам на Преображенский источник валом валют! И пешай, и коннай, тока что на самолетах не слетаются.

— А все опосля того, как Галинка Спиридонова наконец-таки понесла... Все, бывало, ругань в их дворе. Серега жену за пустоцвет бранит, а она (разишь уступит?) — ты, мол, сам такой-сякой, патрон холостой... А как повадилась Галина по вечерней заре в Феклушином ключике окунаться, так к Духову Дню — подарочек: мальчонка.

— Правда, бабы перетирают, больно младенчик с Федором Литвиным, приезжим бугалктером, схожай, — не может не вставить Петровна, — ну дак это ничего... все детки — ангельскай душечки... да и Серега с Галиной тожить счастливы...

— Болтают твои бабы, — вступается за Галину Нечаянный, — ить сколь детишков у иных уж баб опосля купания в нашем источнике народилося? На сто верст, почитай, — наши Ключевские крестники...

Лета нынче куды какие жаркаи, — рассуждает Нечаянный, — прошелся я как-то, прикинул, с десяток родников не досчитался... Подумаваю с батюшкой организоваться да с иконой Андрея Первозванного или

Параскевы Пятницы — покровительницы вод — обойти Крестным ходом пересохшие источники. Встарь не преминули бы так-то!

Деда наши на Андрея Первозванного «наслушивали» в прорубях и колодцах воду. И обычай этот у нас почитался завсегда. После третьих петухов отправлялись на реку, рубили (новую!) прорубь, а прежде чем зачерпнуть водицы, припадали ухом ко льду и слухали. По Андрееву дню и разгадывали, каких сюрпризов от зимы дожидаться. Коли шумит-гуркотит вода — к метели да стуже, а тихая — знай не тужи: зима будет сиротская.

— А и верно ты, Сидорыч, про Крестный ход придумал, — подхватывает Авдотья Петровна, — весь люд подымим! Как жа! Дело наипервейшее! Я и маку прихвачу, развею над криничками, испытанное средство.

— Дивлюсь я на тебя, Авдотья Петровна! Вроде женчина ты верующая, Бога не забываешь, а ить опять жа за свое! Об чем толкуешь, об каких маках-горохах? Какой тебе мак, коли Крестным ходом собираемся? — сердает Сидорыч.

— Э-э! Милая! Одно другому не помеха! Это ж для пущей верности, — отбивается Авдотья. — Как ты думаешь, кады Христа прадеды наши ишо ведать не ведали, как с такой бедой справлялись?.. То-то! И крыть тебе, Матвей Сидорыч, супротив меня ды порядков отцовских нечем!

А как посаженным отцом на свадьбе у крестницы Любашки гулял, как жа ты дозволил по стариковскому обычаю на другой день молодую к колодцу вести? Сам жа ее трижды вокруг сруба обвел, сам кусок свадебного пирога и деньги подал. При тебе аль при ком Любашка их в Степкин колодезь опустила? И ведро с колодезной водой (молодому муженьку умыться) помогал ей до дому донести, когда ряженные перенимали да выливали. Чтой-то с твоей памятью приключилося, ай захворал, Сидорыч?

— С тобой, суседка, в спор вступать, что воду решетом черпать! — подытоживает, махнув рукой, старик. — Теперь не отвертишься, понял я, кто девок на Святки научил по прорубам, колодцам да ключам бегать, гаданья свои пустые устраивать!

— А почему жа, скажи на милость, молодежь радости-веселья лишать? Что с того? Ну крикнет какая в колодезь, ну послушает, что он ей аукнет. Что за вредительство такое? — стоит на своем Петровна.

— Я ж говорю, девчата, — обращается к нам Нечаянный, — воду легче в ступе истолочь, чем Авдотьюшку со своо пути свернуть. Греховодница, что тут об ей скажешь.

— А кто ж ишо! — усмежается Петровна. — А знал бы ты, праведник, как я тебя от ячменя выходила! — не без гордости заявляет Авдотья. — Года три тому как дело-то было. Застудился, видать, Сидорыч, колодезь на Митрохином урынке ладил, а уж дело за Ильин день, дожди — проливенна... День не вижу суседа, два, а на третий — не стерпела. Я — на порог, а у него — Матерь Божья! — ячмень на ячменю! Глазоньки залиплись! Ну, думаю, забедолажил Сидорыч. Чаю крутого заварила, тряпицы смочила, велела прикладывать.

Ушла, мол, по делам. А сама — до дому, за тремя ячменными зеренками... Через часок — снова: мол, не надобно ль чего, суседушка? Тряпицы на глазах поменяла, незаметно зернушками-то по векам прокатила и — к колодцу. Побросала зерны вглубь, помолилась пресвятой Богородице, мол, помоги мне, Всемиловитая, всеильным заступлением Твоим умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия Матвея.

— Это ж надо, что за моей спиной делается! — только и промолвил от неожиданности Нечаянный.

— Не сердчай, Сидорыч, ты же знаешь, как я на Хрищенье раньше всех за «непочатой» водой на Крому бегу да по два водосвятья у иордани выстаиваю, хочь вьюга-куролесица, хочь мороз лютай. Оклякну — сосулька-сосулькой. А водицы богоявленной принесу, все уголочки окроплю. Коли болести какие объявятся — причащуся: глядишь, и зуб занегумит, и поясника поотпустит, и руки в метель вроде не так заломют.

Что я тебе, ай ворожея какая? Ты поди-ка Калиниху пощунай! То е есть за што! Как-то повезла я на салазках на Татьяну Хрищенскую половики на камушках вальком отбить, гляжу, а Калиниха стоит у полыньи — то березовые ветки, то угли печные вчерошные в худом ведерке в воду кунает. Это тебе что такое?

А то как-то вижу: Валет, мерин колхознай, спустился к плесу, видать, притомился, пить захотелось. Только он морду от воды подымит, Калиниха под нее ведро подставляет. Пока коняга пил, бабка от него ни шагу! Это для чего ж такого доброго, скажи-ка ты мне, будь догадлив?

И бабы сказывают, мол, застали старую злыдню, как она яйцы в плетухе у Полынь ложка по воде пускала, там, где три ручья в Крому разом втекают. Ай не знал, Сидорыч, что Калиниха приколдовывает?

К примеру, разругалась она вдрызг с Мариной Елкиной, а на Пасху пришла: мол, с миром к тебе, милая; попросила водицы напиться, да и расплескала по хате ту-то воду. Дак бедная Маринка по сей день погибает, с блохами сражается. С того самого дня вывести не может. А ведь отродясь в ее дому их не водилося. Да ты сам, Сидорыч, знаешь, бабочка она дотошная, чистюля, каких поискать!

— Наслухаешься тебя, Петровна, и напрочь сна лишишься, — смеется над Авдотьиными выдумками Нечаянный.

— Какой уж нынче сон, Матвей Сидорыч! Пора зоревать!

Дивясь Ключевским байкам, не заметили, как прогорели последние полешки, как в саду заметно посветлело.

Уже пару часов, как пала роса. В предутреннем воздухе размыслись очертания кустов и деревьев, дворовых построек и притулившихся к дальнему забору копешек.

Рассвет, умело играя цветом, осторожно вбрызгивает в синеву июльской ночи капли перламутровых белил. Серый переходит в дымчатый. Цвета смешиваются друг с другом, растворяются, расплываются в легкой прохладе, превращаются в бирюзовые туманы. А спустя полчаса исчезают и они.

Окрестности пропитываются чуть уловимым розово-лимонным светом. Уходящая летняя ночь, душная и томная, насквозь пропахшая бражным духом переспелых яблок, отступает за Авдотьюшкин сад, за Филькин лог.

Проклюнувшийся рассвет притупляет своими густо росными туманами ночные ароматы. Но вместо них обнаруживается множество новых запахов, почти неведомых ночи. Всего лишь мгновения витают они поодиночке в только что высветлившемся воздухе. А потом, невзирая на законы сочетаемости, подчиняясь проснувшимся ветеркам, начинают проникать друг в друга, смешиваться, изменяться до неузнаваемости.

Отступившие в низины туманы дышат спелым рогозом, тугой, настоящей на кувшинках и ряске, позеленевшей, словно крыжовниковый

морс, речной водой, не успевшей остыть за короткую июльскую ночь, парную и пенно-анисовую, точь-в-точь как Звездочкин утрешник.

Остатки Петровской ночи, ее белесые рваные клочья цепляются да так и повисают на Авдотьюшкиной гороже, словно выполосканные в омутке тряпицы, отбитые на камушке хлопотливым старушкиным пральником. С каждым мгновением они все смачнее пахнут шишками дикого хмеля, цветами глухой, призаборной, крапивы, приторно-сладкими бубенчиками дурман-травы.

Восток, будто пригасший от грибного дождика пастуший костер, еще не пылает неудержимым пожарищем, а только попыхивает, рдеется, перемаргивает вот-вот воспламеняющимися угольями.

— Ну, милаи, подъем! — командует Авдотьюшка. — А то не укараулим солнце-то, без нас взойдет. Чичас пронырнем скрость вишняк и напрямки, через дальнюю калитку, обочь гаречихи — на Степкин бугор. С него восход — как на ладони! Солнце выкатится из-за бора жаркое, знойное, хочь в фартук лови да блины на ем пеки, — улыбается Петровна.

Сбрасываем обувку — все равно промокнет. Отправляемся за Авдотьюшкой — след в след. Пробираемся садом. Осыпаем с анисов и лопухов тяжелые росные капли. Подставляю ладони, пью восхитительное зелье, настоящее на июльском разнотравье, молодильных яблоках и живительной воде Студеных Ключиков.

Из-за сосняка в небесные луговины выкатывает Ярило. Дождались-таки!

